ИМЕНАМИ МЁРТВЫХ ДУШ

РОМАН



ТРЕНТ АРНОЛЬД

«Живой — это не статус. Это глагол.»

Трент Арнольд

Именами мёртвых душ

«Автор»
2026

Арнольд Т.

Именами мёртвых душ / Т. Арнольд — «Автор», 2026

Система «Тишина» возвращает умерших. На сорок дней: цифровой двойник отвечает близким, ведёт разговоры, почти неотличимые от живого человека. Потом сервер стирает его — вместе с именем.Захар Зимин — тестировщик двойников. Он проверяет их на подлинность и не ошибался ни разу. Пока в 01:31 ночи ему не приходит СМС: «Зимин Захар Андреевич. Статус: Живой. Пока».У Захара семь дней, чтобы понять, кто допустил сбой, — и почему живых в отчёте системы ровно столько, сколько нужно, чтобы все сходились. За это время он найдёт женщину, которую сам похоронил на бумаге, человека, рисующего чужие подписи годами, и ключ, который нельзя было выносить из архива.Остросюжетный роман о границе между жизнью и данными — и о подписях, которые кто-то ставит за нас. «Живой» — это не статус. Это глагол

© Арнольд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 6
Глава 1. Десять рублей 7
Глава 2. Свежие поступления 12
Глава 3. Мост 16
Глава 4. Царская, один 19
Глава 5. Человек в сером 21
Глава 6. Мёртвый штиль 24
Глава 7. Белый вестибюль 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Трент Арнольд
Именами мёртвых душ

«Живой — это не статус.Это глагол.»
Трент Арнольд

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ

«Сорок дней — на закрытие.
Сорок минут — на прощание.
Сорок лет — на забвение.»

Глава 1. Десять рублей

Смерть Кротова пахла остывающим чугуном.

Я понял это раньше, чем увидел тело. «Тяжлит-14» дышал этим запахом во все стороны сразу — из опок, из-под мостков, из ржавой дымки под потолком. Пятнадцать лет я выезжал по «Тяжлиту» на ночных вызовах, и каждый раз нос включался раньше глаз. Может, поэтому я до сих пор жив: у меня нос старше службы.

Дежурного звали Пашков. Воротила невысокий, в замызганной робе, с зеркальцем на шнурке — по нему, не в бумажку, записывали покойников с девяностых. Он ждал меня у ворот, в двенадцати метрах от открытой гермовороты, и старался дышать ртом.

— Мастер смены, — сказал он. — Алексей Викторович. Пятьдесят два года. Упал у формовочной, осел как мешок. Мы его пятнадцать минут откачивали, дышали ему... Вы же сами говорили в прошлый раз: не волнуйтесь, по этой галерее тромб — редкость. Отливки горячие, кровь разжижается.

— Аварийных событий нет?

— Нет. Свет не мигал, станки не останавливались. Только лампы, — он повёл рукой к потолку. — В четыре сорок мигнули раз и погасли. Я к диспетчеру — диск свежий, между сменами. Никто не заметил, а я... я заметил.

— Всё правильно, что заметили.

— У него ведь сын есть, — сказал Пашков вдруг, как будто давно собирался, но не знал, к какому порядку слов приладить. — В Нижнем Тагиле. Пятнадцать лет не разговаривали. Ссора, молодые были, не помню, из-за чего. А звонил — каждый месяц. Всегда. Каждый месяц, представляете? Три секунды, часто без слов: как проверят, жив ли ещё, и всё. — Он снял каску, повертел в руках. — Это неправильно, Захар Андреевич. Звонить сыну каждый месяц — и не разговаривать пятнадцать лет. А теперь уже и звонить некому.

Я знал эту формулу. Я видел её в каждой семье, где есть непогашенное: звонить — да, говорить — нет. Ближние, которые разговаривают, говорят друг другу гадости и живы. Дальние, которые звонят, молчат и ждут. И смерть Кротова лежала на этом не ровно — скошенно, как ложится снег на покосившуюся крышу.

— Найдите номер, — сказал я. — Позвоните ему сами. Скажите, что отец умер на смене. Говорите как есть, без утешений. Утешения я возьму на себя, когда буду готов.

Он не понял, и я не стал объяснять. Лампы в цеху мигают не от сети. Их мигает человек, которому нужно увидеть цех в момент выключенного наблюдения. Затемно приходят дважды: один раз — работать, второй раз — смотреть.

Тело я осматривал так, как осматривал каждую смерть за одиннадцать лет: с конца — от последней покупки к первой мысли утра. У Кротова были мозоли двух пород: круглые — от держака формовочного ковша, и продолговатые, у большого пальца правой руки, — от пера. Мастер литейного, который пишет. Пишет не в тетрадку — в столбец, ставя локоть на стол: так пишут в ведомостях, а не письма. Я запомнил это раньше, чем понял зачем.

В кармане спецовки нашёлся чек из круглосуточного на Кисловодском. Список скупой: пакет, батон, ножницы. И строка, которая не относилась ни к чему съестному: «Перевод 10,00 руб. Получатель: БФ «Зелёная линия», назначение: восстановление Верх-Исетского сквера». Десять рублей. Я перечитал её трижды. Десять рублей — не плата и не милостыня. Десять рублей — это телеграмма тому, кто понимает без слов: «я помню, я не сплю, я там буду».

В другом кармане лежал телефон — старый, кнопочный, с содранной краской и вдавленной клавишей «1». Последнее исходящее — вчерашний вечер, номер с кодом Свердловской области: «Как ты? Всё нормально?» Ответа не было. Пятнадцать лет без ответа — и всё равно вопрос. Я перечитал «всё нормально» и подумал, что живые произносят эти два слова как

просьбу о разрешении жить дальше. Кротов произносил их как доклад: ты жив — значит, у меня есть ещё один месяц.

Я положил всё в пакет, подписал и отнёс Пашкову. Он посмотрел на чек так, как смотрят на чужое письмо: не читая, но понимая.

— Десять рублей, — сказал он. — Сколько же надо, чтобы загубить человека, если он за десять раскачивает?

Я не ответил. Ответ был, но он относился не к его вопросу — к его вечеру: «всё нормально» Кротов напишет ещё раз. Через месяц. Если будет кому.

Тело лежало прямо в опоке — в неглубокой земляной форме для будущего блока цилиндров. Такого не бывает, чтобы не бывает: мастера падают у станков, у печей, на площадках. В опоку падают, только если сам туда шагнул. Кротов был здоровый, тяжёлый, с руками, которые тридцать лет носили полтавки весом в тонну. Алексея Викторовича я знал восемь лет. Он был из тех людей, которых отдел держал «на бронзе»: не штатная должность, не ставка — просто человек с руками. Мастера уходят, а профиль остаётся: «Эфир» живёт сорок дней, и всё это время можно открыть дверь, которую покойник не запер. Кротов открывал больше чужих дверей, чем весь отдел: когда у умершего не было родни, а бумаги требовали подписи, ехал он. «Свежие поступления» он называл «новосёлами» и шутил: «Захарка, живые себе дом не строят — дом строят на них». Я смеялся. Теперь я стоял над его телом и впервые услышал в этой шутке второе дно: дом — «Тишина» — и правда строился на таких, как он. На тех, у кого не было никого, кто бы спросил: а куда он делся?

Я присел на корточки, не касаясь маслянистой пыли. Правая рука мастера была неестественно вывернута, пальцы намертво вцепились в дешёвый кнопочный телефон. Экран светился. За пятьдесят два года в литейном цеху человек берёт телефон перед смертью один раз.

Я натянул нитриловые перчатки. Достал из внутреннего кармана планшет. Пластик корпуса был ледяным — за ночь стыл в машине.

— Давай, красавец, — пробормотал я, беря холодную окоченевшую руку.

Кожа уже пошла пятнами, но папиллярный узор ещё считывался. Я приложил палец мертвеца к сканеру. Тихий, вибрирующий писк. Зелёный огонёк.

Доступ разрешён. Профиль: Кротов А. В. Статус: Эфир.

Цифровой двойник Алексея Викторовича Кротова был ещё жив. Система «Тишина» давала нам сорок дней на закрытие всех земных дел. Сегодня был третий. У меня оставалось тридцать семь суток, четыре часа и одиннадцать минут, пока алгоритм не опустит вуаль и не сольёт Кротова в архивный лёд.

Я смахнул уведомление о времени. Планшет пискнул ещё раз — и на секунду я застыл.

Зелёный огонёк. Прошёл второй раз.

Я смотрел на панель загрузки: мой запрос разбирался на потоки, каждый поток открывал свой сеанс. Потоков должно было быть девять. Их было десять. Десятый жил, дышал, листал банковскую историю Кротова — с другой стороны города или с другого конца цеха.

Кто-то листал счёты мёртвого мастера одновременно со мной.

Я не поднял головы. Я опустил её ниже — так, чтобы видеть планшет под козырьком каски, а не подсвечивать экраном лицо. Десятый сеанс двигался так, как двигался бы я: продукты, ЖКХ, проездной. Тот же маршрут. Неопытный в «Тишине» человек смотрел бы счёт, суммы, остаток. Этот шёл по транзакциям, как по камням через реку, — потому что знал, где лежит то, за чём пришёл.

Банковский модуль закрылся у него на секунду раньше, чем у меня. Десятый сеанс перестал тратить паузы на историю.

— Пашков, — сказал я ровно. — В цеху, кроме тебя, был кто ночью?

— Смена кончилась в двенадцать. Потом один ЧОП, он на другом конце. Я и то вышел только к трём.

— Свет мигнул в четыре сорок. Кто мог идти по цеху в четыре сорок?

— Никого, Захар Андреевич. Никого же.

Никого. И тем не менее кто-то открывал банковский модуль мёртвого Кротова десятью минутами раньше меня — я проверил журналы: чужой сеанс висел с четырёх тридцати восьми. Кто-то, кто успел посмотреть то, что мне предстояло найти, и ушёл, оставив мне хлебные крошки.

Я вернул внимание на экран. История транзакций. Продуктовый на Эльмаше. Оплата ЖКХ. Пополнение проездного.

И последняя запись. Совершена сорок минут назад. За девять минут до того, как тромб убил Кротова прямо у станка.

Сумма: десять рублей. Получатель: благотворительный фонд «Зелёная линия». Назначение: восстановление Верх-Исетского сквера.

Я нахмурился, стягивая перчатку зубами. Десять рублей. Не попытка спрятать деньги. Не взятка. Это была записка. Геотег.

Мёртвый человек за девять минут до смерти адресовал живому агенту места, где надо искать. Он не мог знать, что я приду по его транзакциям. Он мог знать только одно: если придёт кто-то из живых — придёт туда. Кротов оставил направление, как оставляют записку на холодильнике. Он не боялся, что её не увидят. Он боялся, что её увидят не те.

— Что ты мне оставил, Леш? — спросил я в пустоту цеха. — И от кого тебя уберегал?

Кротов не ответил. Он лежал, уставившись в бетонный потолок, и его лицо было спокойным. Таким спокойным, будто он знал, что я приду. Будто он ждал.

Я вернулся к телефону. Кнопочная «Нокиа», без пароля, с облупившимися кнопками. Мастер литейного цеха в наши дни с кнопочным телефоном — это либо бедность, либо дисциплина. Либо третий вариант, который я боялся проговорить про себя.

Я пролистал журнал вызовов. Продажи, врач, сын в Нижнем Тагиле. Последний звонок — за двадцать минут до смерти. Три секунды. Контакт подписан просто: «Анастасия».

Я нажал на «Анастасию». Система выдала справку из базы, к которой был привязан мой служебный планшет:

Абонент: +7 922... Владелец: Савельева Анастасия Игоревна. Статус профиля: Прах. Дата захоронения: 14.05.2019.

2019-й. Год, когда «умер» мой брат.

Я замер. В цеху было холодно, но холод шёл не от бетона и не от металла. Он шёл изнутри. Я знал этот холод. Я жил с ним пять лет.

Мастер Кротов, за девять минут до того, как его сердце остановилось в литейном цеху, звонил на номер женщины, которая официально лежала в земле уже пятый год. Он звонил человеку, которого в системе уже не было. Система, которая не различала живого и мёртвого ни на одном пороге, хранила для меня одну правду: если мёртвый номер звонил живому мёртвому за двадцать минут до смерти — их было двое, и они были живы.

И кто-то — я почувствовал это спиной, затылком, каждой клеткой — стоял в темноте за моей спиной и смотрел.

Я резко обернулся.

Цех был пуст. Только тени, окалина, мёртвые машины. Фонарь на каске выхватил из мрака угол, заваленный бракованными отливками. Никого.

Но я знал: кто-то был здесь. Кто-то, кто перебил мой биометрический запрос десятью минутами раньше. Кто-то, кто выставил на профиле Кротова флажок «Служебная проверка», — на планшете он вспыхнул только что, ровно между двумя моими дыханиями. Красный, как полицейский фонарь на перекрытой трассе.

Флажок закрывал профиль. Не мне — всем. Никому больше не дадут доступа к счётам Кротова, пока не пройдёт проверка, которую никто не запрашивал. Геотег я уже прочёл —

но всё остальное, всё, что я мог бы искать дальше по его счётам, теперь пряталось за чужим флажком. Кто-то не мешал мне найти записку. Кто-то мешал мне прочесть то, что за ней.

— Пашков, — сказал я, поднимаясь. — Твои лампы, в четыре сорок. А сейчас который час?

— Восемь минут шестого.

— Лампы мигнули дважды. Раз в четыре сорок. Второй раз только что.

Он побледнел так, что я увидел это в темноте.

Внезапно под потолком вспыхнули и с мерзким треском замигали дежурные лампы. На этот раз — на все тридцать секунд. Диспетчерская сработала, как тренированный подопытный: его прозвали, его разбудили, его вытащили. Скрежет металла. Гермоворота в торце цеха — тяжёлые, старые, которые открывались только вручную или по коду службы безопасности, — поползли в сторону.

— Никому не двигаться! Служба охраны комбината! — голос, усиленный мегафоном, ударил по барабанным перепонкам.

Частная охрана «Тяжлита». Эти ребята не понимали разницы между заблудившимся сталеваром и федеральным оперативником. У них были дубинки, шокеры и чёткая инструкция — посторонних быть не должно.

Я не выходил на свет. Я метнулся в сторону, спиной вперёд, не отрывая глаз от ворот. Кабель сканера всё ещё тянулся к руке мёртвого Кротова.

— Стоять, я сказал! — рявкнул мегафон.

Я сорвал кабель и сунул планшет в нагрудный карман. Прыгнул за массивную станину старого пресса, уходя с линии обзора. Рёбра пресса пахли застарелым машинным маслом и ржавчиной. Тепло, живое тепло — и это было единственное, что здесь было живым.

Ворота дрогнули и медленно поползли в сторону. В расширяющуюся щель ударил слепящий свет прожекторов с улицы.

У меня не было оружия. У меня не было доступа — палец Кротова остался лежать на бетонном полу, там, где я его бросил. Если меня возьмут — при мне будет планшет, подключённый к профилю «Эфир». Проблемы посерьёзнее, чем наручники.

Вибрация. Планшет в нагрудном кармане завибрировал так сильно, что затряслась молния куртки.

Я вытащил его, не высовываясь из укрытия. Экран мигал красным.

Системное предупреждение. Профиль: Кротов А. В. Обнаружена попытка удалённого доступа. Идёт сверка биометрии...

Кто-то пытался зайти в аккаунт Кротова одновременно со мной. С той стороны цеха.

Я вжался в ледяной бетон. В расширяющихся воротах показались силуэты. Двое. В чёрной форме, с фонарями.

А где-то в темноте, среди мёртвых машин, стоял живой человек, который тоже приложил палец Кротова к сканеру. И система сейчас решала, чей отпечаток считать настоящим.

Сверка биометрии... Доступ заблокирован.

Кто-то перебил мой запрос. Кто-то, у кого был чистый сканер — или кто-то, кого система посчитала более живым, чем меня. Впервые я подумал о том, что «Тишина» вообще не различает живое и мёртвое. Для неё существовал только отпечаток.

Я смахнул уведомление. Профиль Кротова теперь был помечен статусом «Ожидание». Кто-то выставил на нём флажок «Служебная проверка». Это значило, что у меня больше нет доступа к его банковским счётам. Но геотег остался в истории.

Верх-Исетский сквер.

Охрана пробежала мимо, светя фонарями в пустые котлованы. Я выждал тридцать секунд, пока гул их тяжёлых ботинок не растворился в грохоте заработавшего в соседнем цеху молота. Выбрался из укрытия. Отряхнул куртку.

Я вернулся к телу на десять секунд. Разогнул мёртвые пальцы, положил руку в прежнее положение, накрыл опоку куском брезента. За это — премия по совести. За всё остальное, что я сделал этой ночью, — статья.

Уходил я не через торец цеха, где ждала вторая группа охраны, а через служебный лаз старой насосной — его я знал ещё с тех времён, когда ходил по «Тяжлиту» с папками, а не с планшетом. Лаз был узкий, ржавый, пах голубиным гуано и обеззараживающим раствором. Тридцать секунд на продавливание, ещё тридцать — на выход через брезентовый навес, ещё минута, чтобы дойти до проходной без бега. Бег для человека, у которого в кармане лежит чужой профиль «Эфир», — это признание: да, я был здесь не тем человеком, кем я должен быть.

На проходной меня тормознул сонный ЧОПовец. Я молча сунул ему под нос удостоверение. Он даже не стал светить фонариком на голограмму, просто кивнул и нажал кнопку, открывая турникет.

— Вы куда, ночью-то? — спросил он, зевая.

— Со смены, — сказал я. — Зимин. Диспетчер знает.

Я не знал, есть ли диспетчер, который меня знает. Но ЧОПовцу в пять утра не нужно было знать: у него была ночная сменная скука и кнопка турникета, и обе работали на меня.

На улице я глотал морозный ноябрьский воздух. Рассвет ещё не думал начинаться, и над «Тяжлитом-14» висела только рыжая, ядовитая дымка.

У проходной, в ста метрах, у стоящего на дороге знака, фырчал и готовился тронуться серый автомобиль с тонированными в пол стёклами. Восемь семьдесят три, регион двести двадцать пять, затёртая до серого номера табличка. Я запомнил номер, как запоминаю номера людей, у которых нет лица, — по мельчайшим деталям, которые навсегда останутся в голове.

Я не пошёл к машине. Я пошёл в противоположную сторону, вдоль заводской ограды, — и не смотрел на машину из-под козырька. И я не слышал, как она трогается за мной. Я почувствовал это. Когда за тобой едет машина, у которой нет цели подъехать к воротам, — ты чувствуешь это, как чувствуешь человека в темноте за спиной.

Я шёл к своему — к моему — старому «Ниве», синему, с вмятиной у правого крыла. Я не заметил бы её, если бы искал. Я заметил, потому что она стояла не там, где должна была стоять. Не по времени.

Я сел, завёл двигатель. Печка загудела, выдувая из дефлекторов холодный воздух. Я достал телефон, набрал номер Клима.

— Клим, это Захар. Мне нужен список свежих поступлений. Тела без родственников. Те, кого ещё не вбили в базу «Тишины».

— Приезжай, — ответил Клим после паузы. — Но учти: я тебе этого не говорил.

Я положил трубку. Посмотрел в зеркало заднего вида. За мной никого не было. Только пустая улица, фонари, мокрый снег.

Тогда почему у меня в голове звучало, как в наушнике, слово, которое он не сказал? Он говорил о «свежих поступлениях». Он не говорил о том, что их три. Я не знал, сколько их. Я знал только, что один из них не был записан в реестр живых.

Я включил передачу и поехал.

А в цеху, за спиной, в темноте, кто-то всё ещё стоял. Я не видел его. Но я знал: он смотрит. И он ждёт.

Телефон в кармане завибрировал. СМС с неизвестного номера. Два слова, разрыв строки, ещё два слова:

Профиль: Зимин Захар Андреевич. Статус: Живой. Пока.

Глава 2. Свежие поступления

Бюро «Медь и Пепел» на Эльмаше не значилось ни на одной карте. Обычный кирпичный гараж, переделанный в прозекторскую, с неоновой вывеской «Ритуал-Сервис 24/7». Вывеска мигала через раз — то красным, то синим, — и в промозглом утреннем сумраке казалось, что гараж дышит.

Я не подъезжал к «Меди и Пеплу» напрямую. Я сделал три объездных манёвра, посмотрел в зеркала четырежды и в последний раз — на переулке у гаражного кооператива, — вывернул руль в обратную сторону. Серая машина с тонированными стёклами висела у меня на хвосте все сорок минут пути. Я не сбрасывал её. Сбрасывали те, у кого есть право прятаться. У меня права не было, и я не хотел, чтобы её у меня заметили. Тот, кто управляет этой игрой, должен был знать: Захар Зимин приезжает к моргу, потому что Захар Зимин приезжает к моргу. Не потому, что он сбегает.

— Захарка, ты мне не друг, — сказал Клим, когда я зашёл.

Клим встретил меня в резиновом фартуке, с которого ещё капала вода. В углу гудел промышленный холодильник — старый, советский, с латунными ручками и вмятиной на дверце. Внутри лежали те, кто уже не торопился.

— Я тебе не друг, — согласился я. — Но ты мой.

Он не засмеялся. Он и не улыбнулся. Он только проверил, ушла ли серая машина — выглянул в окно на втором этаже, на техническую лестницу, которую он держал для курильщиков. Потом снял фартук, повесил на крюк и сел за стол.

— Знаешь, у меня был период, — сказал он, когда я сел напротив. — Сразу после института. Я верил, что лечу. Тысяча девятьсот девяносто седьмой, травматология, ночные дежурства, я с бумажкой и аспирином спасал мир. Потом однажды ночью умер мальчик — шестнадцать лет, велосипед, трамвай, не важно — и я понял, что лечу не я, а время. А я подписываю. С тех пор я подписываю честно. Это не грандиозная профессия, Захар. Но зато она не врёт. Морги не обещают. Единственное место в медицине, которое не обещает, — морг. Поэтому я и остался.

— Я тебе не говорил, зачем пришёл.

— Я тебе этого не говорил, Захар. Ты меня не приглашал.

— Я тебе и не говорил. Я тебе позвонил.

Он вздохнул так, как вздыхают перед тем, как посмотреть на то, что уже решил, но ещё не посмотрел. Потом налил мне две кружки чая — не спросил, налил вторую. В жестяном чайнике плавала заварка из прошлогодних листов, но в пять утра я не разбирал сортов.

— Ты по поводу мастера, — сказал он не в вопрос.

— По поводу его смерти.

— Я всё сдал по протоколу. Тромб чистый. Чистый как слеза. Счистил руками — не буду врать, руки дрожали, но чистил я, не кто-то там. Я не подписываю то, в чём не уверен. Ты знаешь, — он помолчал. — Ты знаешь меня.

— Я не о протоколе. Я о том, что он не просто умер.

Клим посмотрел на меня сверху вниз — так смотрит человек, который двадцать лет препарирует и поэтому знает разницу между «умер» и «просто умер».

— У тебя же профиль открыт? — спросил он.

— Тридцать семь дней, — сказал я. — Четыре часа назад — одиннадцать минут.

— И что там?

— И там флажок. «Служебная проверка». От чужого.

— От чужого? — Клим поднял глаза. — Это не твоя работа, это не моя работа. Это кто?

— Тот, кто рядом стоял в цеху, когда я осматривал тело.

Клим встал, подошёл к холодильнику. Открывал дверцу медленно, как открывают дверь в чужую квартиру, в которой умерли. С холодом шёл запах. Человеческий запах, который не описывается в протоколах.

— Мне нужны те, у кого нет протокола, — сказал я.

Он обернулся. Я достал из внутреннего кармана свёрток. Внутри лежали таблетки «золотого стандарта» — конфискат, который я должен был сдать в управление ещё месяц назад.

— Свежие поступления. Тела без родственников. Те, кого ещё не успели вбить в базу «Тишины».

Клим взял свёрток, взвесил в руке. Посмотрел так, как смотрят на человека, который делает глупость, но ты уже понимаешь, что его не остановишь.

— Начальство твоё копает под «Мёртвый штиль», Захар. Знаешь, что это значит?

— Значит, времени мало.

— Это значит, что твои люди уже видят твой хвост. Не сторожевой, не охрана. Хвост, который тебя изнутри увидит. Я знаю, что я говорю. Я не дурак, у меня семья.

— У меня тоже.

Он вздохнул, подошёл к своему допотопному компьютеру — монитор с выпуклым экраном, клавиатура с потёртыми буквами — и защёлкал мышью. На экране вспыхнула таблица.

— Три имени. Одно женское, два мужских. Все — за последние сутки. Родственников нет. В базу ещё не внесли — ждут, пока оформят бумаги.

Я пробежался глазами по датам поступления. И замер на третьем.

Имя: Распутин Григорий Ефимович. Причина смерти: огнестрельное, несовместимое с жизнью. Время поступления: 02:15 ночи. Статус: Эфир.

Я перечитал три раза. Имя было слишком точным. Слишком знакомым. Слишком громким для тихого уральского морга.

— Клим, это что?

— А что? Мужик с такой фамилией. Бывает. У нас тут всякие.

— Это шутка? Администратор балуется?

Клим нахмурился, наклонился к экрану, вчитался.

— Нет. Не шутка. Поступил ночью. Дежурный сказал, привезли из-под моста на Малышева. Огнестрел. Менты были, протокол составили. Всё официально.

Убитый с полицейским протоколом. Самый плохой кандидат для «одолженного» профиля — по нему сразу поднимут дело, сверят отпечатки, найдут свидетелей. Имя, которое никто не выберет случайно. Имя, которое кто-то положил мне на стол, как приманку на крючок.

И я всё равно собирался его взять.

— Мне нужен его профиль. Доступ.

— Ты с ума сошёл? Это же «Эфир». Только через «Тишину». Если я дам тебе доступ, меня уволят. Или посадят. Или и то, и другое.

— Ты уже дал мне список.

— Список — это бумажка. А доступ — это ключ.

Я достал из кармана вторую упаковку таблеток. Изъятые — из сейфа «Мёртвого штиля», куда они попали по делу, которое закрыли без наследника; в ведомости они числились утилизированными. Утилизировали в этом отделе только слово. Положил рядом с первой. Клим посмотрел на неё. Потом на меня. Потом на экран. Протянул руку, взял обе, спрятал в карман фартука.

— Профиль будет активен до полуночи. Потом система его заморозит. Если не успеешь — не моя вина.

— Клим. Вчера кто-то тебе звонил? Не по делу. С вопросами.

Он помолчал ровно на одну секунду дольше, чем нужно для «нет».

— Звонил, — признал он. — Вчера, вечером. Мужской голос, вежливый, ровный. Спрашивал: не обращался ли к вам за справкой мужчина лет сорока пяти, без родни, без адреса. Я сказал: морг не справочная. Он не настаивал. Поблагодарил. — Клим посмотрел на меня. — Голос такой, что лучше бы не благодарил. Знаешь, как благодарят, когда благодарность — это посылка?

— Знаю.

— Спасибо, Клим.

— Иди уже, — он махнул рукой. — И не возвращайся. Хотя бы неделю.

Он не сказал «спасибо за таблетки». Он сказал «хотя бы неделю». Я понял, что он имеет в виду. Он не о том, чтобы не подставляться. Он о том, чтобы не быть тем, о ком будут спрашивать. Чтобы выжить.

Прошло меньше недели.

— Клим, — сказал я уже в дверях. — Тот, кто это подписал... который выставил флажок на Кротове. Это не система. Система не ставит флажков, не объясняя, по какой причине. Система молчит и исполняет. Кто-то это поставил. Имя в реестре.

— Какое имя?

— Не знаю. Но я узнаю.

— Не узнавай, — сказал Клим тихо. — Не узнавай, Захар. Пойди и закрой профиль. Систему не сломать.

— Профиль не мой.

Он посмотрел на меня. Я смотрел на него. Между нами лежало то, что лежит между людьми, которые знают друг друга слишком долго, чтобы врать, и недостаточно долго, чтобы договариваться.

— Значит, чей-то ещё, — сказал Клим наконец. — Но не наш.

— Захар, — сказал он мне в спину, когда я уже взялся за ручку. — Кротов в четверг звонил. Спрашивал, как получить профиль без родни. Я сказал: никак, это не делается. Он сказал: спасибо, уже получил. — Клим помолчал. — Я тогда не спросил, что это значит. И тебе сейчас не спрошу. Ты сам поймёшь — или не поймёшь, тогда никакая помощь не поможет.

Я вышел на улицу. Ледяная крупа секла лицо, забивалась за воротник. «Городок чекистов» ждал меня в шести километрах, в десяти минутах пути по пустым улицам. Квартиры, соединённые внутренними переходами. Чёрные лестницы. Вентиляционные шахты. Пять лет назад я бегал там по служебным протоколам и знал эти коридоры лучше, чем свою квартиру.

Знал — и всё равно не понимал, зачем мёртвому мастеру фамилия из другого века.

Я включил передачу и поехал.

В зеркале заднего вида, на первом повороте от «Меди и Пепла», снова возникла та же серая машина. Она не пряталась. Она ехала в десяти метрах и держалась, как держится человек, который хочет, чтобы ты знал, что он едет за тобой, — но не так близко, чтобы ты мог остановиться и выйти к нему.

Я не остановился и не вышел.

Три поворота. Потом два. Потом — на выезде на проспект — машина погасила фары, изменила полосу и ушла, как уходит человек, который просто забыл, что ты живой.

Я не обрадовался. Я не обрадовался потому, что в жизни оперативника отдела цифрового наследия машина, которая перестаёт следовать, означает только одно: следовать больше не нужно. Смотреть нужно уже без неё.

Квартира на Царской ждала меня в темноте. Квартира, о которой я не знал ни адреса, ни кода, ни того, кто живёт в ней. Квартира, в которую я собирался войти с чужим профилем и с чужой фамилией на дверном табличке.

Я поставил машину на пустой парковке у проспекта, посмотрел на тёмные окна дома напротив и подумал о том, что мой брат, который пять лет назад «умер», выбрал для первой двери адрес на Царской. Он всегда выбирал места со смыслом.

Я сидел в машине и слушал, как остывает «Лада». За пять лет я ни разу не спросил себя, где Илья, — не потому что не хотел, а потому что знал: спросишь — придётся искать. Прятать от себя — ремесло. Я им владел: в моих бумагах не было ни одной строчки о брате, а в памяти не было ни одной дыры. Дыра — это когда знаешь, что что-то было, и не можешь найти. У меня не было даже этого. У меня было ровное поле: такой аккуратный снег, на котором не видно ни следов, ни луж, — а значит, кто-то очень старался.

Теперь снег таял. Флажок на смене, «отсутствуют» вместо замечаний, семёрка на опоре, СМС с неизвестного номера — всё это было не набором случайностей, а обратным отсчётом: кто-то старательно подводил меня к дому на Царской, шаг за шагом, дверь за дверью, как ведут по коридору, у которого в конце либо выход, либо та же дверь — только снаружи.

Я вышел из машины. Снег шёл пятый час и падал, как падают строки: сверху вниз, слева направо, без пропусков. Кому-то нужен был порядок. Порядок — это чей-то почерк.

Он знал, что я приду.

Глава 3. Мост

Я не поехал в Городок чекистов напрямую.

Выйдя из бюро «Медь и Пепел», я долго стоял на крыльце, слушая, как мокрый снег ложится на капот «зелёной Лады». Лицо патологоанатома стояло перед глазами вместе со словами «причина смерти: не определена». Дальше в записке было ещё одно слово, которое я заставил себя прочесть только на второй раз: «Малышева». Мост.

Убийца. Вот как звучит по-русски то, что написано в официальных протоколах: Григорий Ефимович Распутин, умер 13 ноября, найден из-под моста на Малышева. Огнестрел. Протокол. Официально. Тринадцатое ноября — та же ночь, что и у мастера «Тяжлита-14»: Распутин — в 02:15, Кротов — в 04:40. Две смерти одной ночью, в двух соседних бюро. Я ещё не знал, что обе — строки одного акта. Я сам это писал: «убийца», «убит». Одиннадцать лет в отделе «Мёртвый штиль» я подписывал этим словом чужие смерти, как ставят штамп на справке. Впервые оно вернулось ко мне с чужой стороны — со стороны мёртвого.

Двадцать минут до Городка чекистов, пять минут в обратную сторону — до Малышева.

Я сел в машину и поехал к мосту.

Мост на Малышева в три часа ночи был пуст. Внизу текла чёрная вода Исети; по берегам лежал снег, и между ними светилась тонкая полоска льда, по которой никто не ходил. Снегопад шёл пятый час, толстый, без ветра, и всё, что происходило на земле, он уже почти похоронил. Я приехал в последний час, когда ещё можно было увидеть следы.

Я оставил «Ладу» на развороте и пошёл пешком по обочине, туда, где в свете фонаря мост проседал над водой.

Я стоял на мосту и слушал, как внизу шумит вода. Ничего. Снег. Ветер. Лампа вдали.

За сорок минут, которые я простоял здесь, я понял про мост то, чего не понимал одиннадцать лет службы. Мост — это не постройка. Мост — это вопрос, который люди задают реке дважды в день: «переправа?» — «переправа». И река каждый раз отвечает: «пока — да». Убийство под мостом — это не выбор места. Это ответ на вопрос, заданный в неправильном порядке: не «как переправиться», а «стоит ли».

И тогда я увидел под мостом, у самой опоры, ровный прямоугольник втоптанного снега.

Туда, где нашли тело, можно было спуститься по левому склону. Я спустился. Провалился в снег по колено, добрёл до опоры и увидел: на земле, под тонким слоем свежего снега, — плотно вытоптанный прямоугольник метр на два. Кто-то стоял здесь долго. Не бегал, не дёргался: стоял.

От прямоугольника к мосту шёл след. Один. Широкий, неровный — человек шёл без цели, как идёт тот, кому некуда спешить. Другого следа не было. Никто не ушёл. Человек, который убил «Распутина», встал здесь, у опоры, вытоптал под собой снег — и стоял.

Я прошёл по следу вверх. Он обрывался у самого моста, в трёх метрах от дороги. Дальше — ничего. Человек не ушёл по берегу, не ушёл по льду, не ушёл по снегу. Он просто исчез — как исчезает тот, кто стоял на мосту, и никто не видел, как он спустился.

Я поднялся по следу и встал там, где обрывался он, — в трёх метрах от дороги, где мост кончается и начинается твёрдая земля. Отсюда видно всю набережную: две остановки, будка, старый ларёк. Ни души.

И только тогда я понял, что меня не просто «не было рядом». Меня не было там, где я стоял: след не обрывался — он не начинался. Тот, кто вытоптал снег у опоры, не пришёл по берегу и не ушёл по нему. Он вышел из точки, в которой не было входа, — как выходят из системы: там, где система решает, что людей нет. Это не «ушёл». Это «вышел». Разница, которую я знал по протоколам и никогда не видел глазами.

На опоре, на высоте моих глаз, было написано углём: «7».

Семёрка. Косая, небрежная, нарисованная быстрым движением. Уголёк ещё не выгорел — я провёл по нему пальцем, и чёрная крошка осталась на подушечке. Написано сегодня. Написано после того, как тело забрали. Убийца вернулся на место — и не убирал следы, а оставил номер.

Я стоял под мостом и думал о том, что число «7» было не моим. Оно не пришло из отдела, не из следствия, не из служебных бумаг. Оно пришло из другого мира: из «Аркадии», из балкона квартиры, где я никогда не был. И теперь оно было здесь, на опоре моста, над чёрной водой Исети, написанное той рукой, которая держала огнестрел.

Я полез в карман за телефоном — и замер.

На ладони, среди мелочи, лежала монета. Маленькая, тонкая, золотистая. Я не клал её туда. Она была не моей: тёплая, гладкая, с ровным краем. Я перевернул её. На обратной стороне — тиснение. Цифра.

Сорок.

Я стоял под мостом, в снегопаде, с монетой в руке, и не мог вспомнить, когда взял её. Не мог вспомнить, где она была. Она просто оказалась в кармане. Я, наверное, поднял её у перил — не глядя, не думая, зачем, — и не запомнил наклона: в снегопаде, где всё падает, поднятая вещь не оставляет следов.

Я выпрямился. Поднял голову к мосту — и над головой, на перилах, сидел человек. Просто сидел, свесив ноги, в сером пальто, и смотрел на воду.

— Доброй ночи, — сказал он, не оборачиваясь. — Не стойте под мостом. Сквозит.

Он спрыгнул — легко, как прыгают с небольшой высоты, — и встал передо мной. Серые виски. Очки без оправы. Лицо, которое можно описать любыми словами.

— Вы, — сказал я.

— Я наблюдал за вами, — сказал он. — Вы хорошо работаете. Быстро. Я даже думал предложить вам... но вы уже сами всё решили, я вижу. — Он улыбнулся. — Монету оставьте себе. На память. Она старая.

— Кто убил «Распутина»?

— А вы сами как думаете? — Он поправил очки. — Вам дано тело, время и место. Вам сказано, что человек, которого убили трижды, — не умер ни разу. Вам сказано, что «13 ноября» — это не дата, а номер. И вы всё ещё спрашиваете? Хорошо. Слушайте. Тело в бюро «Медь и Пепел» — не человека. Это был агент. Инструмент. Как телефон. Как планшет. Как ключ.

— Тогда кто убил его?

— Никто. Инструменты не убивают. Инструменты изнашиваются. — Он пожал плечами. — Иногда просто снимают. Как рукавицы. Как перчатку. Надевают другую.

— А тот, кто носил?

— А это, Захар Андреевич, уже не мой вопрос. — Он отступил на шаг. — Это ваш. Вы сами его зададите. Скоро. И вам будет очень больно от того, что услышите в ответ. Но это ваш вопрос. Не мой.

— Вы — человек в сером пальто.

Он посмотрел на меня внимательно. Потом улыбнулся — впервые за вечер — и эта улыбка была настоящей, тёплой, почти отцовской.

— Вы меня видели раньше, — сказал он. — Вы видели перчатку. Я ношу их много. Имя — такая же перчатка: сорвал одну — надену другую.

Он шагнул к стене — прямо к каменной опоре — и исчез. Не растаял, не просочился: просто перестал быть там, где был. На опоре осталась только цифра. Семёрка. Косая, свежая, чёрная.

Я долго стоял, держа монету в кулаке. Она была тёплой. Не от моего кулака — она нагревалась сама, как маленькая живая вещь.

Я положил её в карман куртки, туда, где лежали ключи от квартиры, и поднялся на мост.

Внизу шумела Исеть. Где-то за городом в мёртвом городе просыпался живой человек — вставал, брился, пил кофе и не знал, что этой ночью у опоры моста стоял человек, который убил «Распутина», и ждал сорок минут, чтобы запустить смерть вовремя.

Глава 4. Царская, один

«Городок чекистов» стоял на проспекте Ленина, как серый бетонный утёс. Монументальное здание в стиле конструктивизма, построенное в тридцатые, — с длинными коридорами, высокими потолками, лестницами, которые вели в никуда. Здесь, в двухстах метрах, когда-то стоял дом, в котором заканчивалась первая семья по фамилии, которую нельзя называть в паспорте вслух. Тот дом снесли в семьдесят седьмом, чтобы не превращать в музей. Городок оставили. Город, который не хочет памятников, оставляет вместо них коридоры.

Я знал этот район. Знал, что здесь легко заблудиться. Знал, что здесь легко исчезнуть.

Я припарковался на противоположной стороне проспекта. Дождь со снегом превратился в ледяную крупу. Я смотрел на тёмные окна и думал о том, что Илья выбрал это место не случайно. Он всегда выбирал места со смыслом. Места, где история сама по себе была посланием.

Машину я оставил не как обычно — в тени, боком, у чужого подъезда, — а на виду: параллельно бордюру, под фонарём, с номерами наружу. Пусть смотрят. Если кто-то следил за мной от морга, он должен был видеть простой факт: оперативник отдела цифрового наследия приехал по адресу и не прячется. Люди, которые прячутся, не приезжают по адресу в пять утра. Люди, которые прячутся, не оставляют машину на свету. Это было всё, что я мог сказать своим поведением, — и это было всё, на что я ещё мог рассчитывать: вести себя так, будто я знаю, что делаю.

Царская, один. Улица, которой нет. Дом, в котором живут призраки. И человек с именем Распутин, который умер сегодня ночью, но всё ещё был «жив» в системе.

Я открыл планшет. Профиль «Распутина» был чист. Никаких транзакций, никаких звонков. Но статус «Эфир» пульсировал, ожидая команды.

И вот что не сходилось. Профиль активируется только один раз — при первом входе. До меня его никто не активировал, иначе система бы это показала. Значит, если здесь что-то ждало меня, то ждало без всякого профиля. Табличка на двери. Открытая сцена. Кто-то подготовил эту квартиру заранее — до того, как я вообще узнал имя Распутина от Клима.

Кто-то знал, куда я приеду, раньше меня.

Я вышел из машины. Ледяной ветер ударил в лицо. Я поднял воротник, перешёл дорогу, вошёл в арку «Городка». Внутри пахло сыростью, старой краской и чем-то ещё — чем-то из детства. Может, хлоркой. Может, страхом.

Коридор был длинным и пустым. Лампы горели через раз. Где-то капала вода. Я шёл медленно, считая двери. Квартира четырнадцать. Квартира пятнадцать. Квартира шестнадцать.

Я не знал ещё, что к моменту, как дойду до восемнадцатой, буду знать этот дом лучше, чем тот, в котором живу. Городок не жил. Городок ждал. В нём не было признаков повседневности, по которым узнают жилой дом: не было ковриков у дверей, не было кнопок с надорванными язычками объявлений, не было велосипеда, прислонённого к стене на площадке. Только двери, только коридоры, только лампы через раз. Дома ждут по-разному: одни — к хозяйке, другие — к приезду сына. Городок ждал так, как ждёт вокзал: к составу, который ещё не назван.

У квартиры семнадцать я остановился. На двери не было номера. Только табличка с надписью, выцветшей от времени: «Распутин Г. Е.».

Табличка выцвела. Не повесили вчера — висела годами. На двери квартиры, зарегистрированной на человека, который умер сегодня ночью.

Я стоял и смотрел на неё. И понимал, что «выцветшая» — это не пять лет выцветания и не двенадцать. Это десятилетия. Табличку повесили до того, как появился профиль. До того, как появился «Распутин». До того, как появилась система, которая позволила человеку существовать, не рождаясь.

Я спросил у системы адрес. Служебный запрос: «Царская, 1, кв. 17. Собственник». Ответ пришёл через двенадцать секунд — не мгновенно, как все ответы «Тишины», а с задержкой, с которой отвечают, когда думают. «Собственник: Савельева Анастасия Игоревна. Статус: Прах. Основание владения: наследование».

Ася спрятана. Кротов знал всё. И квартира, в которой меня ждала фотография моего брата, была оформлена на женщину, которая пять лет официально лежала в земле.

Я достал планшет. Активировал профиль. Система запросила подтверждение. Я нажал «Да».

Дверь щёлкнула. Открылась.

Замок, привязанный к цифровому профилю. Значит, тот, кто собрал эту сцену, не просто подготовил квартиру — он сшил её с «Тишиной». Реальная дверь и цифровой ключ в одном узле. Так делал только сам Илья.

Внутри было темно. Пахло пылью, старой мебелью и чем-то сладковатым. Я включил фонарь на каске. Луч выхватил из темноты стол. На столе лежала фотография. Я подошёл ближе.

На снимке, залитом жёлтым светом, стояли двое. Молодой Кротов — ещё без глубоких морщин у глаз — и парень лет двадцати пяти с тяжёлым, волчьим взглядом. Мой брат. Илья. Они стояли прямо у этого тополя, обняв друг друга за плечи, и смеялись. Снимок был сделан лет десять назад.

Я перевернул фотографию. На обороте — почерк Ильи. Острый, с наклоном влево.

«Он знает. Он идёт. Будь готов».

Я стоял в пустой квартире, сжимая фотографию в руке, и чувствовал, как холод внутри становится льдом. Илья был здесь. Илья оставил это для меня. Илья знал, что я приду.

Но что значит «он идёт»? Кто «он»? И почему я должен быть готов?

Я осмотрел квартиру. Три комнаты, всё по-старому, всё покрыто пылью сантиметрами. Кровать без постельного белья. Шкаф с одной вешалкой. На подоконнике в первой комнате — чугунный подсвечник, в котором свеча горела, судя по наплыву, не один раз. И на подоконнике — я заметил это только сейчас, когда фонарь упал под другим углом, — нацарапанное мелом слово.

«Двенадцать».

Ничего больше. Только цифра, выцарапанная ногтем, — потому что мела под рукой не было.

Двенадцать — это то, что осталось у человека, который писал эту квартиру, когда его могли в любой момент забрать. Двенадцать дней. Или двенадцать минут. Или двенадцать попыток.

Я записал цифру в блокнот — потому что цифры в моём ремесле не забывают, а люди забывают. И подумал о том, что «двенадцать» — не счёт. Это слово из того же языка, что и «пока»: не окончание, а обещание, что счёт продолжится. Мёртвые не считают дни. Мёртвые считают оставшиеся.

Я больше не искал. Не потому, что нашёл всё. Потому что в коридоре, за дверью, послышались шаги.

Медленные. Уверенные. Шаги человека, который знает, куда идёт.

Я погасил фонарь. Прижался к стене. Достал из кармана мультитул — единственное, что у меня было. Лезвие было коротким, но острым.

Шаги остановились у двери. Пауза. Долгая. Тягучая.

Потом дверь открылась.

Глава 5. Человек в сером

Он вошёл без стука. Без предупреждения. Как хозяин.

Я видел его раньше, чем услышал: дверь распахнулась так бесшумно, будто её смазывали в тот же вечер, когда вешали выцветшую табличку. Высокий, в сером пальто, с планшетом в руке. Лицо было в тени, но я видел глаза. Холодные. Спокойные. Так смотрят не на человека, а на результат расчёта, который совпал с ожиданием.

Мультитул был у меня в ладони, лезвие раскрыто. Я не убрал его.

— Захар Зимин, — сказал он. Не вопрос. Утверждение. — Я знал, что ты придёшь.

— Кто вы?

— Тот, кто знает твоего брата. Тот, кто знает, что случилось в 2019-м. Тот, кто может рассказать тебе правду.

Он прошёл мимо меня — я отступил, он не заметил отступления или сделал вид, что не заметил, — и сел на стул у стола. Стул из кухни. Он не искал его, не ощупывал: он знал, что стул здесь, в метре от стола, повёрнут спинкой к окну. Так садится человек, который был в этой квартире раньше. Не один раз.

— Убери нож, — сказал он ровно. — Ты ударил бы меня, если бы я стоял у двери. Меня нет у двери. Есть только разговор.

Я не убрал. Он не настаивал. Положил планшет на стол — рядом с фотографией, не поверх, — и посмотрел на снимок в моей руке. Долго. С таким выражением, с каким люди смотрят на старые фотографии только в двух случаях: когда они там были и когда хотят, чтобы ты так подумал.

— Илья был моим другом, — сказал он. — Мы вместе начинали. Вместе собирали первых «мертвецов». Вместе верили, что «Тишина» — это спасение. Что мы можем дать людям шанс попрощаться.

— Что случилось?

— Илья понял, что система — это не спасение. Это тюрьма. Он хотел её сломать. Я хотел её сохранить.

— И вы его убили.

Он усмехнулся. Не зло. Устало.

— Нет. Я его не убивал. Я его спрятал. В «Тишине». Он стал мёртвецом. Одним из многих. Он сам так решил.

— Зачем?

— Чтобы выжить. Чтобы ты мог найти его. Чтобы ты мог закончить то, что он начал.

Он взял планшет, повернул экран ко мне. На нём был профиль «Распутина». И рядом — ещё один профиль. С фотографией Ильи.

Имя: Зимин Илья Андреевич. Статус: Эфир. Время до архивации: 12 дней, 4 часа, 37 минут.

— У тебя двенадцать дней, — сказал человек в сером. — Потом Илья исчезнет. Навсегда. Если ты не найдёшь его раньше.

— Где он?

— В системе. В «Тишине». В лабиринте, который ты сам помогал создавать. Он ждёт тебя. И он боится.

— Чего?

— Того, что ты не успеешь. Того, что ты сдашься. Того, что ты станешь таким же, как я.

Каждая фраза ложилась в воздух ровно, как плитка в кладке. Я слушал — и не мог поймать ни одной на изгибе. Это было похоже на допрос, где вопросы задаю не я.

— Планшет, — сказал я. — Ты открыл мне профиль Ильи за секунду. Профиль «Эфир» не открывается по клику. Он открывается по уровню доступа. Какой у тебя уровень?

— Достаточный.

— «Достаточный» — не уровень. В спецификации «Тишины» уровней семь. Я их тестировал.

Он не изменился в лице. Ни на миллиметр. Только пальцы на планшете чуть сдвинулись — не к экрану, а вдоль корпуса, туда, где у служебных планшетов сидит камера биометрии.

— Вы же тестировали дверные протоколы, — сказал он мягко. — Двенадцать часов в сутки. Целый год. Модуль ноль. Кто ставил перед тобой папки?

Я замер.

Никто не знал, как выглядела моя тестовая работа. Она не значилась ни в одном доступном мне документе: я подписывал акты, которые не должен был читать, и читал их только ночью, с фонариком, потому что почему-то не мог не читать. Спецификации, протоколы, методики проверки. Модуль ноль. Вестибюль. Привратник.

Я знал это. И человек в сером знал это. И знал, что я знаю.

— Кто вы? — спросил я снова. Тихо. Дверь за его спиной была открыта, в коридоре было темно, и я не знал, чего в этом темноте больше: второго человека или отсутствия второго человека.

— Я просто тот, кто знает больше, чем ты, Захар Андреевич. — Он встал. Поправил пальто. — Я не враг тебе. Я тот, кто хочет, чтобы ты сделал правильный выбор.

— Какой?

— Тот, который спасёт твоего брата. Или тот, который спасёт тебя. Выбор всегда один. И всегда — между двумя смертями.

— Ещё вопрос, — сказал я. — Дыра на входе. Отпечаток вместо пульса. Сканер не различает живого и мёртвого, и вы это знаете. Вы её не заметили или вы её подписали?

Он остановился в дверях. Не обернулся — но остановился.

— Дыры не чинят, пока они работают, — сказал он. — Вы сами когда-нибудь это поймёте. Не сегодня. И не надо. Сегодня вам нужно другое.

И вышел. Дверь закрылась — так же бесшумно, как открылась. Шаги стихли в коридоре, но я слушал их ещё полминуты после того, как они должны были кончиться: шаги этого человека не заканчивались, они истончались, как радиосигнал за горизонтом.

Я остался один. С фотографией в руке. С планшетом, на котором мигал профиль «Распутина». С именем брата, которое светилось в системе.

И я ещё держал фотографию, когда понял, что во мне щёлкнуло. Не смысл. Ритм.

«Лабиринт, который ты сам помогал создавать».

Я работал в этом отделе пять лет. Я тестировал дверные протоколы. Или так это называлось на бумаге. Но эту фразу человек в сером произнёс не как открытие. Как заготовку. Ровно, без нажима, как строку, которую вставляют в стандартную форму отчёта.

Так говорят люди, которым дали один текст.

Я вернулся к столу. Планшет человека в сером — я уже успел запомнить его лицо и ничего больше, потому что безымянный человек страшнее, — исчез. Не было его и на столе, и под столом, и в прихожей. Планшет унесли. Или его не было. Или он был изображением на экране, которое гаснет, когда гаснет экран.

На столе осталось одно: отпечаток ладони на пыли. Свежий. Пять пальцев, развернутые вправо — так кладут руку, когда садятся, опираясь на стол. Ладонь была большая, узкая, с длинными пальцами.

Я не стал её фотографировать. Я понял худшее: рука лежала ровно на том месте, где минуту назад лежал его планшет. Он не «положил планшет на стол». Он вечно держал его на столе — и пыль легла вокруг него, когда пыль легла вокруг всего.

— Я найду тебя, — сказал я вслух. — Слышишь? Я найду.

Двенадцать дней.

Я вышел из квартиры. Закрыл дверь — замок снова щёлкнул, требуя палец, и я приложил большой палец «Распутина», не думая о том, что делаю: рука запомнила маршрут раньше меня. Пошёл по коридору, и слова шли со мной: лабиринт, который ты сам помогал создавать. Я не знал пока, кто второй произнёс эту фразу до него.

Но запомнил её. Слово в слово.

На лестнице, между третьим и вторым этажом, планшет в кармане вибрировал. Я остановился. Снял с блокировки. На экране было уведомление системы — то, которое не должно было прийти мне, живому, снаружи, без санкции:

Профиль: Зимин Захар Андреевич. Статус: Живой. Применён флажок: «Служебная проверка». Инициатор: не указан.

Кто-то только что закрыл мне доступ к моему собственному профилю. Не к Кротову — к моему. С той же ровностью, с какой сорок минут назад выставили флажок на мёртвом мастере.

Я стоял в тёмной лестнице и понимал, что за последние сорок минут дважды смотрел в лицо человеку, у которого есть доступ к реестру живых.

И что оба раза он не врал мне ни в одном слове.

Я поднялся в квартиру. Мультитул всё ещё был раскрыт в ладони; я закрыл лезвие — палец сделал это сам, без разрешения головы. Сел на пол у двери, спиной к косяку, и сидел так минуту — как сидят после драки, которая не состоялась.

Звук-шов остался. Он лежал в ушах, как соль на губах после моря: я слышал его, закрыв глаза, — тонкий, вязкий, из тех звуков, какие делают у прибоя, чтобы волна не разбивала берег. Человек в сером пальто говорил ровно, и под ровностью работало что-то, что ровняло мир. Не сглаживало — ровняло. Как стамеской: снимая лишнее, оставляя то, на чём удобно строить дальше.

Я вспомнил его слова — все, до единого, — и в них не было ни одной точки, с которой можно было бы спорить. Только многоточия. С ним нельзя было спорить — можно было только спрашивать. А спрашивать у человека, который знает про тебя больше тебя, — это подписание акта приёмки себя под его расчёт.

На подоконнике стояла чашка с недопитым кофе. Я не помнил, когда налил. Кофе остыл, и на нём была тонкая плёнка — целая, ровная, без разрывов. Человек в сером пальто не пил и не ел. Он вообще ничего не делал — только ровнял. Ровным был голос, ровным — стол, ровной — ложка на блюдце, которую он поставил идеально параллельно краю, сам того не замечая.

Я убрал ложку. Как будто этим что-то исправил.

Ночью я не спал. Не потому что боялся — потому что считал. Считал, сколько осталось до конца обратного отсчёта, и уже знал ответ на главный вопрос. Ответ был простой и страшный: тот, кто стоит за системой, не прячет от меня брата. Он даёт мне брата — как дают ключ. А ключи дают только тогда, когда хотят, чтобы дверь открыли.

Глава 6. Мёртвый штиль

Отдел «Мёртвый штиль» занимал третий этаж старого здания на Малышева — бывшей обувной фабрики, переделанной под офисы. Лифт не работал. Лестница пахла сыростью и кофе. На стенах — потёки от протечек, на полу — линолеум, который помнил ещё советскую власть.

Я поднялся на третий этаж. Толкнул дверь с табличкой «Отдел цифрового наследия. Посторонним вход воспрещён». Внутри было тихо. Только гудел сервер в углу и мигали зелёные лампочки на панелях.

На крючках у двери висели каски. Четыре. Должно быть пять. Пятая — Кротова — не висела: она лежала на верхней полке стеллажа, снятая, чистая, с аккуратно завязанным шнурком. Каски вешают живые. Снятую каску кладут на полку — так делают, когда знают, что человек уже не вернётся за ней.

За пять лет я не привык к этому. Ни к одной из сорока с чем-то тысяч касок. И не хотел привыкать.

На верхней полке стеллажа, рядом с каской Кротова, лежал свёрток — я знал: там были его рабочие перчатки, запасные очки и записная книжка. Полку трогать было нельзя: это не вещественные доказательства. Это полка ожидания. Разницу я объяснял каждому стажёру и ни разу — себе: доказательства подшивают в дело, а ожидание — хранят. Дела закрываются. Ожидание — нет. Оно лежит на полке, пока не приходит человек, за которым оно держится, и не забирает его — или не кладёт рядом своё.

Каждую пятницу Громов обходил полку с каской Кротова — медленно, с папкой под мышкой, не касаясь. Я думал, это осмотр. Потом понял: это обход, как обходят палату, где лежит человек, который выкарабкается или не выкарабкается, — и на исходе этого обхода решается не вопрос медицины, а вопрос надежды: оставлять ожидание лежать дальше или снять его. Пять лет он оставлял.

Каски наши — это не память о мёртвых. Это счётчик необъяснённых смертей. Каждая снятая каска — вопрос, на который никто не успел ответить: «как?» Начальник отдела — Виктор Семёнович Громов — сидел за своим столом. Пожилой, с седыми усами. Перед ним стояла чашка чая, остывшая. Рядом — папка. На папке — моё имя.

— Зимин, — сказал он, не поднимая глаз. — Заходи. Садись.

Я сел. На стул, который стоял напротив. Жёсткий, с продавленным сиденьем. Громов поднял глаза. Потом закрыл папку.

— Ты вчера был в «Тяжлите-14».

— Был.

— Ты использовал биометрию мёртвого профиля без санкции.

— Использовал.

— Ты активировал профиль «Распутина» без протокола.

— Активировал.

Я не собирался врать. Врать Громову было бессмысленно: у него была привычка задавать вопросы, на которые уже знал ответы, и паузы, которые длились ровно до того момента, когда врать становилось некогда.

Громов вздохнул. Откинулся на спинку кресла. Снял очки, протёр их платком. Надел обратно.

— Ты знаешь, что я могу тебя уволить? Прямо сейчас. Без выходного пособия. Без рекомендаций. С волчьим билетом.

— Знаю.

— И ты знаешь, что я этого не сделаю.

Я молчал. Громов был не просто начальником. Он был тем, кто взял меня в отдел пять лет назад. Тем, кто знал про Илью. Тем, кто молчал.

На краю стола, там, куда я не смотрел специально, стояла рамка с фотографией. Повёрнутая от меня. Я видел только обратную сторону: картон, потёртый угол. На столе Громова не было чужих фотографий. На столе Громова не было фотографий вовсе. Рамка с фотографией, повёрнутая от гостя, — это была не деталь интерьера. Это был способ не смотреть.

— Почему? — спросил я.

— Потому что у тебя двенадцать дней, — сказал он. — И потому что ты единственный, кто может найти Илью. Пока он ещё в системе.

Я замер. Громов знал. Знал всё.

— Откуда вы...

— Я был наставником твоего брата, — сказал он тихо. — Когда он пришёл в отдел. Когда он начал собирать первых «мертвецов». Когда он понял, что система — это не спасение. Я был там. Я видел.

— И вы ничего не сделали?

— Я сделал. Я помог ему спрятаться. В «Тишине». В лабиринте, который мы создали вместе. Он жив, Захар. Пока жив. Но время уходит.

Лабиринт.

«Лабиринт, который ты сам помогал создавать» — вчера, в квартире на Царской, из-под тени пальто. «Лабиринт, который мы создали вместе» — сегодня, из-под очков начальника отдела. Разные люди. Разные слова. Один и тот же каркас, будто обе фразы прогнали через один шаблон. Свидетели так не говорят. Свидетели путаются в деталях. Так говорят люди, которым дали один текст.

— Кто дал вам этот текст? — спросил я.

Громов поднял на меня глаза. Медленно.

— Какой текст?

— Вы оба. Вы и человек в сером. Вы сказали «лабиринт, который мы создали вместе». Он вчера сказал «лабиринт, который ты сам помогал создавать». Двенадцать дней, «Эфир», архивация. Вы двое рассказываете мне одну и ту же лекцию. Свидетели путаются. Вы — нет.

В кабинете погудел сервер. Громов снял очки снова. Протирал их дольше, чем нужно.

— Я ждал, когда ты это заметишь, — сказал он наконец. — Пять лет ждал.

— Что это значит?

— Это значит, что правды больше, чем двое рассказчиков, Захар. Это значит, что тебе ещё рано знать, кто из нас двоих вообще существует. — Он надел очки. — Иди работай.

— Вы мне не ответили.

— Я ответил тем, что не уволил тебя.

Он открыл папку. Достал лист бумаги. Протянул мне.

— Это карта. Схема «Тишины». Внутренние уровни. Протоколы доступа. Всё, что нужно, чтобы войти.

Я взял лист. На нём была схема — сложная, запутанная, как лабиринт. Уровни. Сектора. Ключи доступа. И — я узнал её раньше, чем дочитал до низа, — я знал эту схему. Не потому, что видел её у Громова. Потому что в 2018-м, двенадцать часов в сутки, я сидел над картонной папкой «Модуль ноль. Вестибюль. Привратник» и ставил галочки на страницах, где были нарисованы эти самые уровни. Я думал, что тестирую интерфейс. Я подписывал акты приёмки. Я не знал, что тестирую тюремные стены изнутри.

— Илья на седьмом уровне, — сказал Громов. — Глубоко. Туда мало кто доходит. Система защищает свои секреты.

— Как мне войти?

— Через «Эфир». Профиль «Распутина» — твой ключ. Активируй его, войди в систему, следуй карте. Но помни: «Тишина» не любит чужаков. Она будет тебя проверять. Каждый шаг. Каждое решение. Если ошибёшься — останешься там. Навсегда.

— Как Илья?

— Как Илья, — повторил Громов. — Но у тебя есть преимущество. Ты живой. Ты можешь вернуться. Если успеешь.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на город — серый, мокрый, уставший.

— Захар, — сказал он, не оборачиваясь. — Я знаю, что ты винишь себя. За то, что не был рядом. За то, что не спас. Но сейчас у тебя есть шанс. Не упусти его.

Я смотрел на схему в руке. На лабиринт. На карту, которая вела в неизвестность.

— Я войду сегодня.

Громов обернулся. В его глазах было что-то — не жалость. Понимание.

— Будь осторожен. «Тишина» помнит всех. И не отпускает никого.

Он повернулся к столу — и я впервые за весь разговор увидел рамку. Он повернул её не ко мне. Он повернул её к себе. На фотографии была женщина лет сорока пяти в резиновых сапогах, у штакетника, с ведром огурцов: лицо смеющееся, простое, такое, каким бывают лица только на летних фотографиях. Я не знал тогда, кто это. Запомнил только штакетник и ведро.

Я поднялся. Уже у двери он добавил — тихо, почти между делом:

— И ещё, Захар. Выбор, который тебе предложили. Он всегда один. И всегда — между двумя смертями.

Я застыл на пороге. Точно те же слова. Слово в слово. Интонация другая — но каркас тот же, что и в квартире на Царской.

Значит, эти слова сказали ему раньше — или он читал по протоколу, который сам подписывал. Я не знал. Громов не сказал.

Громов смотрел на меня поверх очков и не пытался это скрыть.

Я вышел из отдела. Спустился по лестнице. На площадке между вторым и первым этажом остановился. Не от усталости — от холодной, трезвой ясности.

Двое за последние сутки рассказали мне про 2019-й одно и то же. Слово в слово, деталь в деталь. Значит, вопрос был не «кто мне сказал правду».

Вопрос был: кто написал сценарий.

На улице было холодно. Мокрый снег. Ветер. Я сел в машину. Достал планшет. Открыл профиль «Распутина».

Статус: Эфир. Время до архивации: 35 дней, 14 часов, 22 минуты.

Тридцать пять дней. У Ильи — двенадцать. У меня — тридцать пять, чтобы найти его и вытащить. Или чтобы остаться там вместе с ним.

Я завёл двигатель. Включил передачу. Поехал домой.

Дома меня ждала тишина. Пустая квартира. Холодильник, который гудел слишком громко. Стол, на котором лежала фотография — та самая, из квартиры на Царской. Кротов. Илья. Улыбки.

Я сел за стол. Открыл планшет. Активировал профиль «Распутина».

Система запросила подтверждение. Я нажал «Да».

Экран вспыхнул. Пошли строки кода. Потом — темнота. Потом — свет.

Я стоял в белом пространстве. Без стен. Без пола. Без потолка. Только белое. Бесконечное.

И голос. Голос системы.

— Добро пожаловать в «Тишину», Захар Зимин. Ваш профиль активирован. Ваш путь начинается здесь.

Я сделал шаг. Потом ещё один. Белое пространство начало меняться. Появились очертания. Стены. Коридоры. Двери.

Лабиринт.
Лабиринт, который я сам помогал создавать.
Я вошёл.

Глава 7. Белый вестибюль

Белое не кончалось.

Перед входом — за час до него — я сделал всё, что можно было сделать живому человеку, у которого есть один планшет и одна жизнь. Зарядил планшет полностью. Оставил телефон на зарядке у кровати, с открытой клавиатурой набора и номером Клима в первом поле. Положил под дверь квартиры записку: «Если до полуночи не позвоню — Клим, это не ссора. Вскрывай. Ключ — в жестяной банке за электросчётчиком». Ключ я не сдал: он висел на шее, на цепочке, с 2019 года, и за пять лет я не расстёгивал застёжку, потому что не мог объяснить никому, включая себя, зачем он мне. Теперь знал.

Ключ был не только ключом. Я не знал ещё, чем именно, но рука знала: когда я брал его с утра, он был тёплым, как живое.

Ещё я сделал то, чего не делал ни разу за пять лет службы: позвонил Климу и попросил его ко мне. Не посторожить — просто прийти. Позвонить в дверь. Если не открою сам — пусть сидит на лестнице до утра и звонит снова.

— Зачем? — спросил Клим.

— На случай, если у меня выключится сердце. — Я сказал это ровно, как диктуют номер телефона. — У нас умирают же люди — аж четыре тысячи в год.

Клим не засмеялся.

— Буду, — сказал он. — Только учти: я приду с чемоданчиком. С моим чемоданчиком не разберёшься, кто кому морг, а кто кому жизнь.

Я узнаю об этом потом — по расширителю в его руках и по чужой сломанной ключице. Но пока я знал только одно: на той стороне двери есть хотя бы один человек, который придёт, если его позвать.

Я сел за стол. Положил руку на планшет. Активировал профиль «Распутина».

И пошёл.

Белое не кончалось.

Я шёл по нему, наверное, минут десять — а может, десять часов. Ощущение времени здесь отключали первым, как свет в морге, где экономят на живых. Под ногами не было ничего, но ноги находили опору. Над головой не было ничего, но голову хотелось втянуть в плечи.

Карта Громова легла мне на сетчатку сама, без команды. Не лист — линии. Тонкие, серые, будто кто-то вёл карандаш прямо по воздуху. Шесть прямоугольников, соединённых коридорами. И седьмой, внизу, обведённый дважды.

Я остановился. Карта остановилась вместе со мной — и дрогнула. Коридоры поползли, прямоугольники поменялись местами, как костяшки в детской «пятнашке». Через минуту от схемы Громова осталась одна деталь: цифра «7» внизу. Остальное было враньём. Или устарело. В «Тишине» это означало одно и то же.

— Входите, — сказал голос. — Не стойте на пороге. На пороге всех продувает.

Белое сгустилось. Появился зал — высокий, с колоннами, с мраморным полом, который был не мрамором, а очень добросовестным рендером мрамора. Я узнал его раньше, чем огляделся. Не глазами — пальцами, которые вдруг вспомнили шероховатость картонной обложки. Толстая папка, 2018 год, по двенадцать часов в сутки. «Модуль ноль. Вестибюль. Привратник». Я листал её, ставил галочки, подписывал.

Узнавал — и не чувствовал ничего. Так узнают дом, в котором жил в детстве, когда его уже снесли.

В глубине зала стояли шесть дверей. Высокие, двустворчатые, каждая со своей латунной табличкой. Я подошёл ближе и прочитал: «Покой». «Склад». «Игровой стол». «Реестр». «Сброс». «Приём».

Шесть протоколов. Шесть форм, которые я подписывал в том же 2018-м, не понимая, что подписываю. Меня уверяли, что это тестовые сценарии. Что за каждым сценарием — «условный пользователь». Что «условный пользователь» никогда не станет настоящим.

Седьмая дверь дверью не была. Чёрная массивная рама в человеческий рост, а внутри — пустота того же белого цвета, что и всё вокруг. Над рамой висела табличка без единого слова — латунь, отполированная до зеркала. Я посмотрел в неё и увидел своё лицо. Только своё. Никаких надписей. Табличка показывала каждого входящему: ты.

Посреди зала стоял конторский стол с зелёным сукном, а за столом сидел человек в нарукавниках. Невысокий, сутулый, в очках, с лицом, которое запоминаешь только по оправе. Перед ним лежала книга величиной с могильную плиту. На обложке — тиснение: «Перепись-40».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.